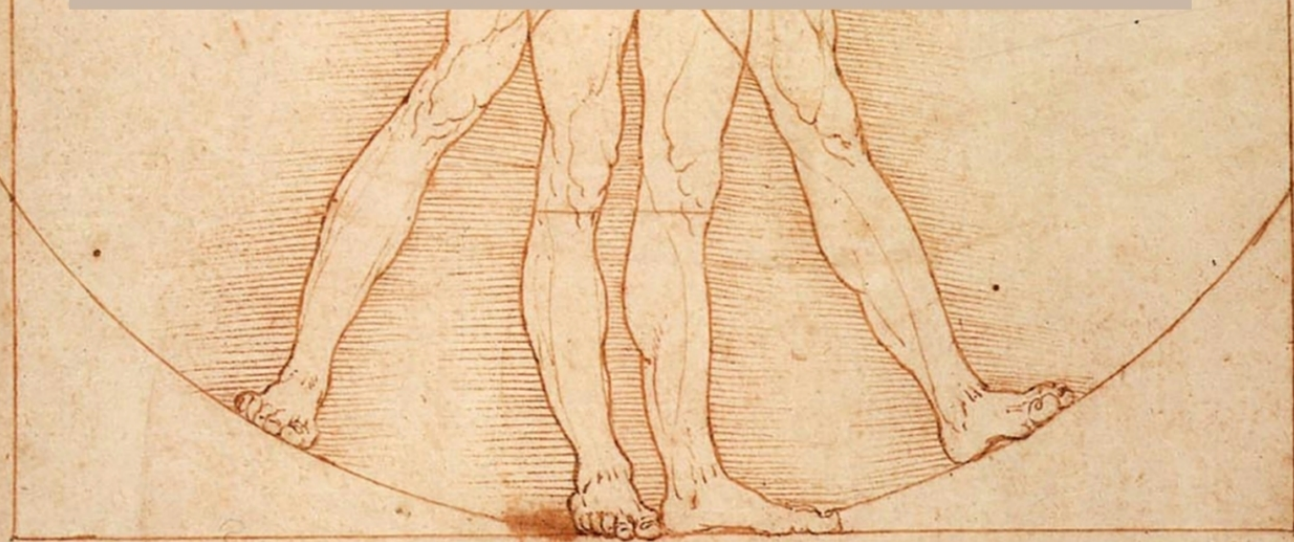


Меган Хорхенсен

Капитанская дочка.
Истина

Записки Алексея
Швабрина



16+

Меган Хорхенсен
Капитанская дочка. Истина

«ЛитРес: Самиздат»

2018

Хорхенсен М.

Капитанская дочка. Истина / М. Хорхенсен — «ЛитРес: Самиздат», 2018

Повесть «Капитанская дочка. Истина» - неожиданный взгляд на события, описанные А. С. Пушкиным в классическом произведении русской литературы «Капитанская дочка». Автор не спорит с гением, но показывает и осмысливает восстание Пугачёва так, как его воспринимал Алексей Швабрин. В книге убедительно доказывается, что «рукопись Гринёва» всего лишь фальсификация записок Швабрина. Новый взгляд на события позволяет читателю не только освежить в памяти выдающийся роман, но по новому оценить героев повествования. Читая книгу, вы обязательно улыбнётесь и оцените юмор, элементы пародии и аллюзии.

Содержание

От издателя. Записки Швабрина или честь смолоду	5
Глава I. Армейский офицер	6
Глава II. Крепость	12
Конец ознакомительного фрагмента.	17

Меган Хорхенсен

Капитанская дочка. Истина

От издателя. Записки Швабрина или честь смолоду

«Записки несумасшедшего» (Л.Н.Толстой. Дневники. 30 марта 1884 года).

Предлагаемая вниманию читателя рукопись была обнаружена во время строительства жилого дома в приволжском городке N. Рабочие, роющие котлован для фундамента, наткнулись на давно заброшенный старинный погреб, в котором, среди запыленных бутылей и банок с наливками, соленьями и копчениями (впрочем, безнадежно испорченными), обнаружились и завернутые в промасленный холст бумаги.

Сотрудники местного краеведческого музея подтвердили, что на этом месте находилась усадьба, принадлежавшая семейству Гринёвых, – мелкопоместных дворян. Один из владельцев усадьбы – Петр Гринёв – в молодости проходил по Пугачёвскому делу. Сама же усадьба сгорела в революционные времена.

В музее хранятся записки девицы Марины Остужевой (не представляющие широкого интереса), в коих рассказывается, как в начале 19 века местный помещик Петр Гринёв выкупил у заезжего человека некую рукопись, потратив на то огромные деньги. Человек, продавший ему рукопись, пропил часть денег в местных кабаках, где спьяну проговорился, что в бумагах речь идет о делах, которые, будучи преданными огласке, могут разрушить фамилию Гринёва. Себя же этот человек называл тюремным офицером в отставке. По словам девицы Остужевой, человек этот затем неожиданно исчез, а куда делся – неведомо.

К удивлению жителей городка, Гринёв рукопись не уничтожил, а продал некоему издателю Ивану Петровичу Белкину, о чем и была сделана нотариальная запись. Запись сия чудом сохранилась и находится в том же музее. Белкин же, в свою очередь, уступил записки А.С.Пушкину. При публикации же выяснилось, что ничего зазорного для Гринёвых в рукописи не было, наоборот...

Известно, что Гринёв продал текст Белкину как свой собственный, а в городке поговаривали, что он, несомненно, подделал текст, проданный ему тюремным офицером.

Находка оригинального манускрипта позволяет сделать вывод о том, что на самом деле Петр Гринёв не просто рукопись переработал, но решительно изменил саму её суть. Из текста явствует, что автором мемуаров является Швабрин, а не Гринёв. Сделаны же записи были в заключении, где и попали в руки вышеупомянутого тюремщика, который и распорядился ими по-своему.

Не остается сомнений в том, что А.С.Пушкин обработал и издал версию, фальсифицированную Гринёвым, что не умаляет художественных достоинств произведения, коему Александр Сергеевич дал название «Капитанская дочка».

Из оригинального текста становятся ясны некоторые мотивы действий героев, а мы получаем полное объяснение непонятных до сих пор фактов.

Однако оставим читателя наедине с впервые публикуемым авторским текстом.

Разбить текст на главы, добавить пояснения в виде комментариев и вставить эпиграфы к каждой главе осмелился издатель.

Глава I. Армейский офицер

«Скажут...» (А.С.Пушкин. «Евгений Онегин». Глава 3.)

Отец мой Иван Андреич Швабрин в молодости своей служил при князе Потемкине, и вышел в отставку секунд-майором в 17.. году. С тех пор жил он в своей Вологодской деревне, где и женился на девице Акулине Ивановне Э., дочери бедного тамошнего дворянина. Нас было девять человек детей. Все мои братья и сестры умерли во младенчестве. Матушка была еще мною брюхата, как уже я был записан в Камыш-Самарский полк сержантом, по милости армейского майора князя Т., близкого нашего родственника. Если бы паче всякого чаяния матушка родила дочь, то батюшка объявил бы куда следовало о смерти неявившегося сержанта и дело тем бы и кончилось. Я считался в отпуску до окончания наук. В то время воспитывались мы не по-нонешнему. С пятилетнего возраста отдан я был на руки стремянному Никитичу, за трезвое поведение пожалованному мне в дядьки. Под его надзором на седьмом году выучился я русской грамоте и, хоть и не мог размышлять о свойствах борзого кобеля, но о нравах дворян местных, жестокосердием среди прочих ноблей особо отличавшимся, судить мог здраво.

(Примечание издателя: несомненно, Петр Гринёв не отличался литературным дарованием. Он даже не удосужился хоть немного изменить изложение истории рождения г-на Швабрина. Впрочем, у Гринёва не было оснований опасаться проверки).

В это время батюшка нанял для меня француза, мусье Руссо, которого выписали из Москвы вместе с годовым запасом книг и ежегодников. Приезд его сильно понравился Никитичу.

– Слава богу – ворчал он про себя – дитя умыт, причесан, накормлен, дак ведь того мало. В науках прилежен, но надобно и мусье нанять, а то слаб я становлюсь – боюсь, не сдюжу, и из Алеши человека не выйдет без европейского воспитанию.

Руссо в отечестве своем слыл литератором, потом отдан был в солдаты за вольнодумство, потом приехал в Россию pour etre outchitel, верно понимая значение этого слова и стремясь сеять в душах отрочества семена свободомыслия, которое во французской земле глубокие корни пустило. Он был добрый малый, не ветрен, не беспутен, хотя и суров до крайности. Главною его слабостию была страсть к прекрасному слову; нередко за смутьяновы речи получал он выговора, от которых, впрочем, не охал по целым суткам, а по прошествии некоторого времени, когда провинности его забывались, продолжал свои нотации. К тому же, был он то ли братом, то ли кумом известного в те времена французского писателя и философа, что несколько охраняло моего учителя от особых наказаний, потому как наши гонители свобод боялись прописанными быть в статейках да пиесках на потеху парижской публики.

Мы тотчас поладили, и хотя по контракту не обязан он был учить меня по-французски, по-немецки и всем наукам, а только показывать, как вилку да нож держать, но предпочел он делу отдаться с прилежанием. Мы жили душа в душу. Другого ментора я и не желал. Но вскоре судьба нас разлучила, и вот по какому случаю:

Прачка Палашка, толстая и рябая девка, и кривая коровница Акулька как-то согласились в одно время кинуться матушке в ноги, винясь в преступной слабости и с плачем жалуясь на мусье, не желающего обольщаться их неопытностью, но каждодневно рассказывавшего им про вольности, данные Господом всем живым существам и равенстве перед Господом холопа и помещика. Матушка шутить этим не любила, и пожаловалась батюшке. У него расправа была коротка. Заподозрив неладное в пристрастиях француза, он тотчас потребовал каналью к себе. Доложили, что мусье давал мне свой урок. Батюшка пошел в мою комнату. В это время Руссо был занят делом. Надобно знать, что для меня выписана была из Москвы географическая карта. Она висела на стене и употреблялась нами для упражнений в стратегии. Батюшка

вошел в то самое время, как я мановением руки вел на решительный приступ республиканские войска, сметавшие остатки российской императорской гвардии аж до Мыса Доброй Надежды.

Увидя мои упражнения в военном деле, ярко свидетельствующие о моих противуцарственных наклонностях, батюшка дернул меня за ухо, подбежал к Руссо, задел его очень неосторожно, и стал осыпать укоризнами. Руссо в смятении хотел было ответить, как подобает, но не смог: несчастного француза ухватили под руки батюшкины сатрапы. Семь бед, один ответ. Революционера вытолкали из дверей, и в тот же день прогнали со двора, к неописанной печали Никитича.

(Примечание издателя: нет сомнения, что речь идет о члене Конвента Жераре Этьене Руссо, голосовавшем за казнь Людовика и Марии Антуанетты, дальнем родственнике известного энциклопедиста, в молодости служившим учителем в российской дворянской семье, откуда его изгнали за «богопротивные речи». Был захвачен в плен аристократами и повешен, отказавшись изменить республиканским убеждениям. Перед казнью вскричал здравицы в честь революции).

Однако, тем не кончилось мое воспитание. Я жил толково, не гонял голубей и не тратил времени впустую, играя в чахарду с дворовыми мальчишками, а постигал исторические, географические и иные науки с пристрастием, редко встречающимся среди молодежи.

Между тем минуло мне шестнадцать лет. Тут судьба моя переменилась. Однажды осенью матушка варила в гостиной медовое варенье, а я смотрел на кипучие пенки, видя в мечтах своих вздымающуюся волну народного гнева, обрушивающегося, подобно багрово-раскаленной волне, на дворянско-поповское отребье, истязующее народ свой без устали.

Батюшка у окна читал Придворный Календарь, изредко пожимая плечами и повторяя вполголоса:

– Генерал-поручик!.. Он у меня в роте был сержантом!... Обоих российских орденов кавалер! А давно ли мы...

Наконец батюшка швырнул календарь на диван, и погрузился в задумчивость, не предвещавшую ничего доброго.

Вдруг он обратился к матушке:

– Акулина Ивановна, а сколько лет Алёше?

– Да вот пошел семнадцатый годок, – отвечала матушка. – Алёша родился в тот самый год, как окривела тетушка Настасья Герасимовна, и когда еще...

– Добро – прервал батюшка, – пора его в службу. Полно ему в потешные войска играть.

Мысль о скорой разлуке со мною так поразила матушку, что она уронила ложку в кастрюльку, и слезы потекли по ее лицу. Напротив того, трудно описать мое восхищение. Мысль о службе сливалась во мне с мыслями о свободе, о трудностях и невзгодах солдатской жизни в далекой приграничной крепости. Я мнил себя офицером армии, защитником отечества, что по мнению моему было верхом благополучия человеческого.

Батюшка не любил ни переменять свои намерения, ни откладывать их исполнение. День отъезду моему был назначен. Накануне батюшка объявил, что намерен писать со мною к будущему моему начальнику, и потребовал пера и бумаги.

– Не забудь, Иван Андреич, – сказала матушка – поклониться и от меня князю Т.; я-де скарать надеюсь, что он не оставит Алёшу своими милостями.

– Что за вздор! – отвечал батюшка нахмурясь. – К какой стати стану я писать к князю Т.?

– Да ведь ты сказал, что изволишь писать к начальнику Алёши.

– Ну, а там что?

– Да ведь начальник Алёшин – князь Т. Ведь Алёша записан в Камыш-Самарский полк, стоящий на Яике.

– Записан! А мне какое дело, что он записан? Алёша в Яик не поедет. Чему научится он служба в степях? Стрелять да рубиться? Понюхает пороху, да потянет лямку? Нет, пускай

послужит он в гвардии, да с девицами знатными познается, шаматонить научится. Записан в армии! Где его паспорт? Подай его сюда.

Матушка отыскала мой паспорт, хранившийся в ее шкатулке вместе с сорочкою, в которой меня крестили, и вручила его батюшке дрожащею рукою. Батюшка прочел его со вниманием, положил перед собою на стол, и начал свое письмо. Любопытство меня мучило: куда ж отправляют меня, если уж не в Яик? Я не сводил глаз с пера батюшкина, которое двигалось довольно медленно. Наконец он кончил, запечатал письмо в одном пакете с паспортом, снял очки, и подозвав меня, сказал:

– Вот тебе письмо к Андрею Карловичу Р., моему старинному товарищу и другу. Ты едешь в Петербург служить под его начальством.

Итак все мои блестящие надежды рушились! Вместо тяжелой полевой жизни в стороне отдаленной ожидала меня служба в постылом Петербурге. Служба, о которой за минуту думал я с таким восторгом, показалась мне тяжким несчастьем. Но спорить было нечего. На другой день по утру подвезена была к крыльцу дорожная кибитка; уложили в нее чамодан, погребец с чайным прибором и узлы с булками и пирогами, последними знаками домашнего баловства. Родители мои благословили меня.

Батюшка сказал мне:

– Прощай, Алексей. Служи верно, кому присягнешь; слушайся начальников; за их лаской не гоняйся; на службу не напрашивайся; от службы не отговаривайся; и помни пословицу: береги платье с нову, а честь с молоду.

Слова батюшкины были приняты мною с достоинством, хоть и не без некоего удивления, – странно было слышать их из уст человека, отправляющего меня из глухой деревушки в столичные кулуары, где суждено было мне стать одним из повес, при дворе обретающихся.

Матушка в слезах наказывала мне беречь мое здоровье, а Никитичу смотреть за дитятей.

В ту же ночь приехал я в Москву, где должен был пробыть сутки для закупки нужных офицеру гвардии вещей, что и поручено было Никитичу. А как только наказ был исполнен и мундиры парадные подогнаны в мой рост, не медля отправился я далее, лелея надежду, что все ж таки служба, хоть и не в боевой части, но даст мне новые познания, укрепляя юношеские чистые помыслы и веру в Великое Государство Российское, токмо ради блага народного и существующее.

Того, однако ж, не случилось. Уже по пути из Москвы в Петербург наблюдал я страшные картины разорения, запустения полей поселянских в угоду помещичьим угодыям. Потравы покосов да посевов, отъятия девиц от матерей и отцов, дабы запереть их в девичьих на утеху графским недорослям, отдание сыновей во солдаты в наказание непокорных – да мало ли мерзостей творило дворянское племя по всей Руси? Гораздо позже, в бытность узником Шлиссельбургского острога, довелось мне сидеть пару дней в одной темнице с господином Ртищевым (точно фамилию не упомяну), который поведал мне, что заточен был за беспристрастное и правдивое описание тех ужасов, что наблюдал на пути из новой столицы в старую. И не сумлеваюсь, что Ртищев ни слова не преукрасил в изложении своем и что власти наши российские в вечной злобе и глупости бросили в острог очевидца, полагая наивно что тем самым искореняют основу бунта. Помнится, говаривал мне Ртищев, гремя кандалами, мол, страшиться должен помещик жестокосердный, ведь на челе каждого из его крепостных видеть можно приговор безжалостный мучителям своим. Да слепа российская власть окаянная. Ужо дождется судии

(Примечание издателя: несомненно, речь идет о Радищеве и его фундаментальном труде «Путешествие из Петербурга в Москву»).

Впрочем, отвлекся я от повествования. Итак, приехав в Петербург, я прямо явился к генералу. Я увидел мужчину росту высокого, но уже сгорбленного старостию. Длинные волосы его были совсем белы. Старый полинялый мундир напоминал воина времен Анны Иоанновны,

а в его речи сильно отзывался немецкий выговор. Я подал ему письмо от батюшки. При имени его он взглянул на меня быстро:

– Поже мой! – сказал он. – Тавно ли, кажется, Иван Андреич был еще твоих лет, а теперь вот уш какой у него молотец! Ах, фремя, фремя!

Он распечатал письмо и стал читать его вполголоса, делая свои замечания.

– Милостивый государь Андрей Карлович, надеюсь, что ваше превосходительство... Это что за серемонии? Фуй, как ему не софестно! Конечно: дисциплина перво дело, но так ли пишут к старому камрад?.. Ваше превосходительство не забыло... гм... ёи... когда... покойным фельдмаршалом Потем... походе... также и... Каролинку... Эхе, брудер! так он еще помнит стары наши проказ? Теперь о деле... К вам моего обличателя пороков... гм... катать как сыр в масле... Что такое сыр в масле? Это должно быть русска поговорка.

.. Что такое «катать, как сыр в масле?» повторил он, обращаясь ко мне.

– Это значит, – отвечал я ему с видом как можно более невинным, – обходиться неласково, строго, давать побольше военных экзерцисов, катать как сыр в масле.

– Гм, понимаю... и давать ему воли поболее... нет, видно сыр в масле значит не то... При сем... его паспорт... Где ж он? А, вот... не отписывать в Камыш-Самарский... Хорошо, хорошо: все будет сделано... Позволишь без чинов обнять себя и... старым товарищем и другом – а! наконец догадался... и прочая и прочая...

– Ну, батюшка, – Сказал он, прочитав письмо и отложив в сторону мой паспорт – все будет сделано: ты будешь офицером переведен в Семеновский полк, и чтоб тебе времени не терять, то завтра же поезжай в Царское Село, где ты будешь в команде капитана Орлова, императрицина любимца и сердешного друга. Там ты будешь на службе не настоящей, не научишься дисциплине, но с нужными людьми подружишься изрядно. В крепостях делать тебе нечего; холод да непрестанные учения вредны молодому человеку. А сегодня милости просим: отобедать у меня. Пора начинать завязывать знакомства при дворе-с.

Час от часу не легче! подумал я про себя; к чему послужило мне то, что еще в утробе матери я был уже армии сержантом! Куда это меня завело? В парады и в самый центр Империи!

Я отобедал у Андрея Карловича, вдесятером с его адъютантами. Хлебосольное русское застолье царствовало за его столом, и я думаю, что желание видеть иногда лишнего гостя за своею богатую трапезою был отчасти причиною поспешного приписания моего к дворцовому гарнизону.

Как бы то ни было, только не показалась мне служба. Исправно ходил на балы да приемы, нес караулы при дверях императрицы, заучивая имена очередных фаворитов и отваживая либо неугодивших, либо надоевших амантов и наперсников. Назвать службу сложною было нельзя, но и удовольствие сии обязанности не доставляли, тем паче, что ни о каких армейских хитростях, как то: офенсивы, ретирады, сикурсы да правильные осады, – гвардия и не слыхивала, ограничиваясь пересудами да придворными сплетнями.

Одна отрада и одно успокоение для души мне выпало – посещение уроков высокого штиля и светлой поэзии, даваемых для дворянской молодежи великим поэтом русским Васильем Кирилычем Тредьяковским, который научил меня оды слагать и слога в сонетах считать, чем немало изумлял я девиц петербургской знати, коих не чурался, несмотря на дурное отношение с моей стороны к дворянству, из которого, орднако, сам я и происходил.

Меж тем, над холопами наши властители измывались исправно и за людей оных не почитали. Что ни день, из холопских хибар да с конюшен доносились крики несчастных терзаемых крестьян, мученья которых мне сердце пронзали не в пример аполлоновым стрелам. Не раз замечал я за собой невольное движение руки, тянущейся к эфесу шпаги при виде очередного измывательства какого-нибудь недоросля над несчастным крестьянином, причем все отличие знатного Митрофанушки от раба состояло в том, что угораздило мерзавца родиться в богатой горнице, а не в крестьянской хибаре.

Не ведомо мне, сколь долго сумел бы выдержать оные испытания, но один случай способствовал избавлению моему от сей рутины.

Однажды, сдав караул и вышедши из дворца, отправился я на прогулку в нищие кварталы, где работный люд ютился. Не с той целью, которой забавляли себя изнывающие от скуки офицеры – подстерегая мастеровых, бредущих с работ и обирая их до последней полушки, только чтобы позабавить удаль молодецкую, а дабы не дать сердцу зачерстветь и не забыть о доле печальной кормильцев земли русской. Дошед до трактира, вошел в темную залу и сел за пустой стол, запросив полжбана браги – питья неблагородного, но был я молод и счел, что подобным питьем с народом сближаюсь. Сидя за столом, потягивая густое вонючее пойло и пялясь из окна на грязный переулок, заметил я, что аккурат саженьях в ста открылось новое питейное заведение, не в пример чище и просторнее. Любопытство мое превозмогло, и направил и туда стопы свои, будучи уже в изрядном подпитии.

Отворив дверь заведения, убедился, что и впрямь состояло оно из многих зал и коридоров. Испросив у кабатчика чарку водки и испив ее, я пошел бродить по всем комнатам. Вошел в биллиардную, увидел высокого барина, лет тридцати пяти, с длинными черными усами, в халате, с кием в руке и с трубкой в зубах. Он играл с маркером – человеком из народа, – который при выигрыше выпивал рюмку водки, а при проигрыше должен был лезть под биллиард на четверинках. Я стал смотреть на их игру. Чем долее она продолжалась, тем прогулки на четверинках становились чаще, пока, наконец маркер остался под биллиардом. Барин произнес над ним несколько сильных выражений в виде надгробного слова, и предложил мне сыграть партию. Я отказался по неумению. Это показалось ему, по-видимому, странным. Он поглядел на меня как бы с сожалением; однако мы разговорились. Я узнал, что его зовут Иваном Ивановичем Зуриным, что он ротмистр гусарского полку и находится в Питербурге при сдаче рекрут, а стоит в этом трактире. Зурин пригласил меня отобедать с ним вместе чем бог послал, по-солдатски. Я с охотой согласился, почитая его за боевого офицера, а не парадного гвардейца. Мы сели за стол. Зурин пил много и потчивал и меня, говоря, что надобно не бояться обильных излиятий; он рассказывал мне армейские анекдоты, от которых я со смеху чуть не валялся, и мы встали изо стола совершенными приятелями. Тут вызвался он выучить меня играть на биллиарде.

– Это – говорил он – необходимо для нашего брата служивого. В походе, например, придешь в местечко – чем прикажешь заняться? Ведь не все же бить жидов. Поневоле пойдешь в трактир и станешь играть на биллиарде; а для того надобно уметь играть!

Я совершенно был убежден в обратном, так как ни жидов, ни малороссов, ни ляхов не ставил ниже себя, а по примеру учителя моего Руссо верил в равенство и братство всех народов, а посему бить никого не собирался, тем не менее с большим прилежанием принялся за учение. Зурин громко ободрял меня, дивился моим быстрым успехам, и после нескольких уроков, предложил мне играть в деньги, по одному грошу, не для выигрыша, а так, чтоб только не играть даром, что, по его словам, самая скверная привычка.

Я не согласился, утверждая, что, мол, негоже, слуге отечества играть на интерес, покуда народ бедствует и находится в тяжелейшем положении. Зурин на то велел подать пуншу и все уговаривал меня попробовать, повторяя, что к службе надобно мне привыкать; а без пуншу, что и служба! Я послушался его. Между тем дерзкия речи моя продолжались. Чем чаще прихлебывал я от моего стакана, тем становился отважнее; я горячился, бранил светлейшего князя П. и графа Р., час от часу умножал обличения российским порядкам, словом – вел себя как мальчишка, вырвавшийся на волю. Между тем время прошло незаметно. Зурин взглянул на часы, положил вилку и объявил мне, что я оскорбил Государыню императрицу, но он, Зурин, готов простить мне проступок, коли выплачу незамедлительно ему сто рублей. Это меня немножко смутило. Деньги мои были у Никитича. Но я стал не извиняться, а внушать сослуживцу все бесчестье его поступка. Зурин меня прервал:

– Помилуй! Изволь побеспокоиться. Я не могу ждать, а не то поеду сей час в сыск с кляузой.

Что прикажете? Не желая поддаваться на угрозы дерзкого и низкого мужа сего, я отвечал ему, не запинаясь и со всевозможной холодностью:

– Молчи, хрыч! Коли дорога тебе честь Государыни, то изволь заступиться за нее по мужескому долгу. А денег не дам, да и недостойна твоя Катька гулящая, чтоб за нее заступались. Видать, защитничков, честнее тебя, у этой губительницы народа русского не водится.

Зурин отвечал на то, что я верно пьян, да ведь ему крайняя нужда в деньгах, иначе делу будет дан ход, а это окончится для меня, несомненно, колодками, лишением дворянства и высылкой в Сибирь на поселение на веки вечные. Делать было нечего. Я взял на себя вид равнодушный и отвечал, что готов долг уплатить. Когда же Зурин, теми словами совсем удовлетворенный, поворотился ко мне спиной, я, дождавшись кабатчика, который в то время был спустившись в погреб за очередной порцией пуншу, толкнул Зурина, да так неловко, что тот упал на склизкий пол и весь в пыли и грязи извалялся. Я же, вместо извинений, принялся изрядно хохотать, на что ротмистр с досады на меня прикрикнул и заявил, что и не таковыские ему кровью за подобные оскорбления платили. Мне же того и было надобно. Тот час же поклонился учтиво, заявив, что готов дать удовлетворение в любой момент. После чего ушел из проклятого трактира, нисколько не сомневаясь, что Зурин пришлет мне вызов при первой okazji – уж больно неприятной вышла бы ему огласка, коли он умолчал бы о деле. Так и случилось, – вызов был прислан, и на рассвете следующего дня я заколол ротмистра насмерть на третьем выпад.

Помогло мне, что, как видно, офицер сей так берег честь мундира, что пил без просьху до самой дуэли, а посему не смог бы и в дуб попасть с одного удара, не то, что в меня. Я же, напротив, ежедневно посвящал несколько часов фехтованию по французской методе, чему учил меня еще мусье Руссо, – изрядный фехтовальщик, потомок, по его словам, лакея одного мушкетера. Мушкетер тот прославился темной историей, связанной то ли с брошкой, то ли с диадемой, подаренной по легкомыслию одной из французских королев британскому герцогу Б. Драгоценность сию лакей умудрился получить назад, благодаря своей природной смекалке и владению оружием, но, как водится, мушкетер приписал все заслуги себе... Но не буду отвлекаться. Даст бог, сумею как-нибудь поведать миру сию занимательную историю – как рассказывал ее Руссо, ничего не приукрашивая (обещался он в сочинение историю вставить, да не знаю, довелось ли).

Итак, делу об оскорблении властей, в том числе Государыни Императрицы, хода дано не было, хотя Зурин и успел покляузничать в те недолгие часы, что прошли от нашего знакомства до дуэли. Но собутельники его то ли внимания не уделили болтовне пьяного гусара – общеизвестны хвастовство и презрение их по отношению к офицерам, имеющим несчастье служить в других родах войск, – то ли просто за бутылкой позабыли о тех словах. Однако ж, свалить на башкир или калмыков смерть ротмистра не удалось за неимением оных в Царском Селе, посему за дуэль меня подвергли заточению в крепости. (Обычно ссылка за дуэль полагалась на весьма легких условиях. Вот если бы дворянин помог крестьянину дрова рубить или пахать за того вздумал, – такого доброго человека в «честный дом» не пустили.

Но в моем случае речь шла об убийстве генеральского племянника, что осложняло дело). По прошествии нескольких недель разбирательства был удален я из гвардии и послан простым офицером в ***полк, с предписанием явиться прямо в Белогорскую крепость.

Вещи были собраны и уложены. Никитич явился с известием, что лошади готовы. С неспокойной совестью, но и без безмолвного раскаяния выехал я из Петербурга, не простясь с моими сослуживцами и не думая с ним уже когда-нибудь увидеться.

Глава II. Крепость

«Люблю Россию я, но...» (Известный русский поэт).

*«Ой цветет калина в поле у ручья. Парня молодого полюбила я».
(Старинная русская песня).*

Дорожные размышления мои были не очень приятны. Проступок мой, по тогдашним ценам, был маловажен. Я не мог не признаться в душе, что поведение мое в трактире было глупо, и, хотя не чувствовал себя виноватым перед кем бы то ни было, сознавал, что вскорости меня могут простить, призвать вновь ко двору и отправить на постылые гвардейские вечеринки.

Все это меня мучило, но и надежд на ратные дела и возможности живот свой на благо отечества положить я не терял.

Я приближался к месту моего назначения. Вокруг меня простирались печальные пустыни, пересеченные холмами и оврагами. Все покрыто было снегом. Солнце садилось. Кибитка ехала по узкой дороге, или точнее по следу, проложенному крестьянскими санными. Вдруг ямщик стал посматривать в сторону, и наконец, сняв шапку, оборотился ко мне и сказал:

- Барин, не прикажешь ли воротиться?
- Это зачем?
- Время ненадежно: ветер слегка подымается; – вишь, как он сметает порошу.
- Что ж за беда!
- А видишь там что? (Ямщик указал кнутом на восток.)
- Я ничего не вижу, кроме белой степи да ясного неба.
- А вон – вон: это облачко.

Я увидел в самом деле на краю неба белое облачко, которое принял было сперва за отдаленный холмик. Ямщик изъяснил мне, что облачко предвещало буран. Я слышал о тамошних метелях, и знал, что целые обозы бывали ими занесены.

(Примечание издателя: далее на нескольких страницах автор рукописи повествует о буране, настигшем путников на пути в Оренбург и о том, как путники нашли прибежище на местном постоялом дворе. Так как к основной канве мемуаров описание снежной бури отношения не имеет, тем более, что литературные качества отрывка, включая приведенные три первых абзаца описания бурана, по мнению издателя, уступают колоритным картинам российской природы в романах Э.Тополя, А.Марининой и Д. Донцовой, то издатель решил сократить текст записок, исключив из него буран).

Белогорская крепость находилась в сорока верстах от Оренбурга. Дорога шла по крутому берегу Яика. Река еще не замерзала, и ее свинцовые волны грустно чернели в однообразных берегах, покрытых белым снегом. За ними простирались киргизские степи. Я погрузился в размышления, большею частью печальные. Гарнизонная жизнь много имела для меня привлекательности. Я старался вообразить себе капитана Миронова, моего будущего начальника, и представлял его не невежественным стариком, не знающим своей службы, и готовым за всякую безделицу сажать простых рекрутов под арест на хлеб и на воду, а старым и мужественным воином, прошедшем огонь и воду, настоящим богатырем русским, хозяином земель ее.

Между тем начало смеркаться. Мы ехали довольно скоро.

- Далече ли до крепости? – спросил я у своего ямщика.
- Недалече, – отвечал он. – Вон уж видна.

Я глядел во все стороны, ожидая увидеть грозные бастионы, башни и вал; но ничего не видал, кроме дереушки, окруженной бревенчатым забором. С одной стороны стояли три или

четыре скирда сена, полузанесенные снегом; с другой скривившаяся мельница, с лубочными крыльями, лениво опущенными.

– Где же крепость? – спросил я с удивлением.

– Да вот она – отвечал ямщик указывая на деревишку, и с этим словом мы в нее въехали.

У ворот увидел я старую чугунную пушку; улицы были тесны и кривы; избы низки и большею частью покрыты соломою. Я велел ехать к коменданту и через минуту кибитка остановилась перед деревянным домиком, выстроенным на высоком месте, близ деревянной же церкви. Никто не встретил меня. Я пошел в сени и отворил дверь в переднюю. Старый инвалид, сидя на столе, нашивал синюю заплату на локоть зеленого мундира. Я велел ему доложить обо мне.

– Войди, батюшка, – отвечал инвалид: – наши дома.

Я вошел в чистенькую комнатку, убранную по-старинному. В углу стоял шкаф с посудой; на стене висел диплом офицерский за стеклом и в рамке; около него красовались лубочные картинки, представляющие взятие Кистрина и Очакова, также выбор невесты и погребение кота. У окна сидела старушка в телогрейке и с платком на голове. Она разматывала нитки, которые держал, распялив на руках, кривой старичок в офицерском мундире.

– Что вам угодно, батюшка? – спросила она, продолжая свое занятие.

Я отвечал, что приехал на службу и явился по долгу своему к господину капитану, и с этим словом обратился-было к кривому старичку, принимая его за коменданта; но хозяйка перебила затверженную мною речь.

– Ивана Кузмича дома нет – сказала она; – он пошел в гости к отцу Герасиму; да все равно, батюшка, я его хозяйка. Прошу любить и жаловать. Садись, батюшка.

Она кликнула девку и велела ей позвать урядника. Старичок своим одиноким глазом поглядывал на меня с любопытством.

– Смее спросить – сказал он; – вы в каком полку изволили служить?

Я удовлетворил его любопытству.

– А смее спросить – продолжал он, – зачем изволили вы перейти из гвардии в гарнизон?

Я отвечал, что такова была воля начальства.

– Чаятельно, за неприличные гвардии офицеру поступки – продолжал неутомимый вопрошатель.

– Полно врать пустяки – сказала ему капитанша: – ты видишь, молодой человек с дороги устал; ему не до тебя... (держи-ка руки прямее...) А ты, мой батюшка, – продолжала она, обращаясь ко мне – Не печалься, что тебя упекли в наше захолустье. Не ты первый, не ты последний. Стерпится, слюбится».

– В эту минуту вошел урядник, молодой и статный казак.

– Максимыч! – сказала ему капитанша. – Отведи г. офицеру квартиру, да почище.

– Слушаю, Василиса Егоровна, – отвечал урядник. – Не поместить ли его благородие к Ивану Полежаеву?

– Врешь, Максимыч, – сказала капитанша: – У Полежаева и так тесно; он же мне кум и помнит, что мы его начальники. Отведи г. офицера... как ваше имя и отчество, мой батюшка? Алексей Иванович?.. Отведи Алексея Ивановича к Семену Кузову. Он, мошенник, лошадь свою пустил ко мне в огород.

Положение, при котором жена армейского капитана заправляла всей крепостию, да к тому же не видела надобности скрывать, что руководствовалась не нуждами вверенного на попечение супруга редута, а токмо собственной корыстию да неприличествующими пристрастиями, на первый взгляд показалось мне нетерпимым, однако ж, поразмыслив, я пришел к выводу, что несчастная Василиса Егоровна отличалась от славнейшей Екатерины Великой всего лишь масштабами правления, посему сделал вид, что ничего особого не происходит.

Между тем, Василиса Егоровна продолжала:

– Ну, что, Максимыч, все ли благополучно?

– Все, славу богу, тихо, – отвечал казак; – только капрал Тарас Малыгин подрался в бане с Устиньей Негулиной за шайку горячей воды.

– Иван Игнатыч! – сказала капитанша кривому старичку. – Разбери Малыгина с Устиньей, кто прав, кто виноват. Да обоих и накажи. Ну, Максимыч, ступай себе с богом. Алексей Иваныч, Максимыч отведет вас на вашу квартиру.

Я откланялся. Урядник привел меня в избу, стоящую на высоком берегу реки, на самом краю крепости. Половина избы занята была семьей Семена Кузова, другую отвели мне. Она состояла из одной горницы довольно опрятной, разделенной надвое перегородкой. Никитич стал в ней распорядиться; я стал глядеть в узенькое окошко, размышляя о скудоумии и простоте нравов низшего слоя государевой опричнины – «Разбери, кто прав, кто виноват, да обоих и накажи» – как лучше можно передать состояние дикости, присущей всему безграничному краю, называемому Российской Империей. Неужто не найдется управы, способной положить конец царящему у нас беззаконию, неужто не явится сизый орел, сокол ясный, что взмахнет мечом Гидеоновым над главами сей гидры острозуброй и срубит смердящие морды, адский пламень изрыгающие. Неужто не народился еще заступник народный, – Бова Королевич или Иван Царевич, заперший бы дворян в ежевы рукавицы и правивший бы во благо державы, народа и последнего из подданных своих. Королевич, да Царевич – условия всенепременные, ибо Ивана Крестьянского Сына, да Алёшку Поповича народ наш, в мерзости властями удерживаемый, не примет ни в коем разе... Так думалось мне, пока разглядывал я мир в окошко.

Передо мною простиралась печальная степь. Наискось стояло несколько избышек; по улице бродило несколько куриц. Старуха, стоя на крыльце с корытом, кликала свиней, которые отвечали ей дружелюбным хрюканьем. И вот в какой стороне осуждены были проводить люди дни свои до скончания веков! Тоска взяла меня; я отошел от окошка и лег спать без ужина, несмотря на увещания мудрейшего Никитича, который повторял с сокрушением:

– Господи владыко! ничего кушать не изволит! Ох, как убивается по чужому горю. Знать, будет толк из дитяти, но ждут его чахотка и Сибирь...

Следующим утром я явился к комендантскому дому, у которого увидел на площадке человек двадцать стареньких инвалидов с длинными косами и в треугольных шляпах. Они выстроены были во фронт. Впереди стоял комендант, старик бодрый и высокого роста, в колпаке и в китайчатом халате. Увидя меня, он ко мне подошел, сказал мне несколько ласковых слов и стал опять командовать. Я остановился было смотреть на учение; но он просил идти к Василисе Егоровне, обещаясь быть вслед за мною.

– А здесь – прибавил он – нечего вам смотреть.

Василиса Егоровна приняла нас запросто и радушно, и обошлась со мною как бы век была знакома. Инвалид и Палашка накрывали стол.

Что это мой Иван Кузмич сегодня так заучился! – сказала комендантша. – Палашка, позови барина обедать. Да где же Маша?

Тут вошла девушка лет четырнадцати, круглолицая, румяная, с светлорусыми волосами, гладко зачесанными за уши, которые у ней так и горели.

С первого взгляда она не очень мне понравилась, хотя я и не смотрел на нее с предубеждением: Маша, уже в этом возрасте требовавшая к себе обращения по имени-отчеству – капитанская дочь, как-никак, выглядела совершенною дурочкою. Она села в угол и стала шить.

Между тем подали щи. Василиса Егоровна, не видя мужа, вторично послала за ним Палашку.

– Скажи барину: гость-де ждет, щи простынут; слава богу, ученье не уйдет; успеет накричаться.

Капитан вскоре явился, сопровождаемый кривым старичком.

– Что это, мой батюшка? – сказала ему жена. – Кушанье давным-давно подано, а тебя не дозовешься.

– А слышь ты, Василиса Егоровна, – отвечал Иван Кузмич, – я был занят службой: солдатухек учил.

– И, полно! – возразила капитанша. – Только слава, что солдат учишь: ни им служба не дается, ни ты в ней толку не ведаешь. Сидел бы дома да богу молился; так было бы лучше. Дорогие гости, милости просим за стол.

Я счел за благо не высказывать удивление капитанским неумением обучить службе пару десятков солдат. Придержал при себе и мнение о бесхитростном признании в означенной глупости его женой в присутствии малознакомого офицера, равно как и о суждении о пользе молитв вместо военных учений.

Мы сели обедать. Василиса Егоровна не умолкала ни на минуту и осыпала меня вопросами: кто мои родители, живы ли они, где живут и каково их состояние? Услыша, что у батюшки триста душ крестьян, «легко ли!» – сказала она; – «ведь есть же на свете богатые люди! А у нас, мой батюшка, всего-то душ одна девка Палашка; да слава богу, живем помаленьку. Одна беда: Маша; девка на выданьи, а какое у ней приданое? частый гребень, да веник, да алтын денег (прости бог!), с чем в баню сходить. Хорошо, коли найдется добрый человек; а то сиди себе в девках вековечной невестою».

Я взглянул на Марью Ивановну; она вся покраснела, и даже слезы капнули на ее тарелку. Несмотря на явную глупость этого создания – не от большого же ума при подобной материнской болтавке, несомненно, повторяющейся изо дня на день, можно было рыдать во время обеда, да еще в присутствии только что впервые увиденного молодого человека, – мне стало жаль ее; и я спешил переменить разговор.

– И Вам не страшно, – вопрошал я, обращаясь к капитанше, – оставаться в крепости, подверженной всяческим опасностям? Привычка, мой батюшка, – отвечала она. – Тому лет пятнадцать как нас из полка перевели сюда, и не приведи господи, как я боялась проклятых этих нехристей – башкирцев да татар! Как завижу, бывало, рысьи шапки, да как заслышу их визг, веришь ли, отец мой, сердце так и замрет! А теперь так привыкла, что и с места не тронусь, как придут нам сказать, что злодеи около крепости рыщут.

– Василиса Егоровна прехрабрая дама – заметил важно отец Герасим. – Иван Кузмич может это засвидетельствовать.

– Да, слышь ты, – сказал Иван Кузмич: – баба-то не робкого десятка.

– А Марья Ивановна? – спросил я, чтобы поддержать разговор: – так же ли смела, как и вы?

– Смела ли Маша? – отвечала ее мать. – Нет, Маша трусиха. До сих пор не может слышать выстрела из ружья: так и затрепещется. А как тому два года Иван Кузмич выдумал в мои именины палить из нашей пушки, так она, моя голубушка, чуть со страха на тот свет не отправилась. С тех пор уж и не палим из проклятой пушки.

Да уж, – подумалось мне, – Хороша же крепость, комендант которой по прихоти крепостницы-жены и взбаламошной дочки, сходящей с ума от безделия и нерастраченных жизненных соков, за два года ни разу пушку не опробовал. Да и из Оренбурга, что в сорока верстах всего, комиссия ни разу, видать, не заезжала – хороши же нравы в нашем войске.

Мы встали из-за стола. Капитан с капитаншею отправились спать; а я пошел к отцу Герасиму, с которым и провел целый вечер, пытаюсь склонить этого горького пьяницу к философскому спору на теологические темы. Впрочем, безо всякого успеха.

Так началась моя жизнь в Белогорской крепости. Подробности почти пятилетнего моего существования в этом уголке я вынужден опустить за неимением места, а к тому же, ничего любопытного поведать не могу – обычные свинцовые мерзости русской жизни. Особого внимания на тяготы я не обращал, посвящая все свободное время, коего было в достатке, чтению

литературы, выписываемую мною в избытке из столицы – от Горация и Вергилия, до Княжнина и Дмитрия Переднего, благодаря чему знания мои постоянно усиливались, а душа укреплялась верой в возможность перемен даже в несчастном отечестве нашем.

Обедал я почти всегда у коменданта, где обыкновенно проводил остаток дня, и куда вечером иногда являлся отец Герасим с женою Акулиной Памфиловной, первую вестовщицею во всем околке. По утрам я читал, упражнялся в переводах, а иногда и в сочинении стихов.. Прошло несколько недель, и жизнь моя в Белогорской крепости сделалась для меня не только сносною, но даже и приятною.

Единственно, что отравляло мою жизнь, так это невозможность избавиться от каждодневных и все усиливающихся попыток достопочтенного комендантского семейства выдать за меня Марию Ивановну. Во мне с полным на то основанием видели завидного жениха – да и то сказать, – хоть опальный, да гвардейский офицер, с наследством в триста душ, статный, неглупый и одинокий. Первым приступом дело сладить у доброго семейства не получилось, посему приступили к правильной осаде с построением фортификаций, эскападами, наездами, подкопами и засадами. Не избегали и подкупов, вводя в дело всю местную знать, которая с нескрываемым интересом наблюдала за поединком и судачила вечера напролет, когда же крепость швабринская падет.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.